

Татьяна Алферова

ПАМЯТЬ
ПО ЖЕНСКОЙ
ЛИНИИ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Я последняя хранительница памяти нашей семьи. Той памяти, что передавалась из поколения в поколение по женской линии, от матери к дочери. Некогда огромная семья до сих пор внушительна: у меня десять племянников, но своих детей нет, и линия прервалась. Женщины играли ведущую роль не обязательно в силу характера, порой за счет количества. В третьем колене их было три – три сестры. Старшая – Мария, моя бабушка. Средняя – Катерина и младшая – Антонина не продолжили рода.

Такое важное женское понятие, как семья, у каждой висело в рамочке на почетном месте, а вот любовь обдувалась ветерком во дворике. Это не означает, что они не мечтали об избраннике, но один принц вполне подлежал замене другим. Унаследованное свойство, традиция. Со смехом, но более с гордостью, передавалась история сватовства прабабушки Анны. К безземельной сироте, живущей у крестного отца, посватались сразу четверо. Ответ отложили на следующий день, до утра. Тетка Пелагея, жена крестного, искрутилась на лавке, а прабабушка спит себе на полатях. Но тетка не обладала безмятежной сонливостью, которая будет

передаваться по наследству, как память, и поэтому сердито шептала снизу:

– Анна, спишь, что ли?

– Сплю, Кока, сплю.

И в конце концов:

– Да ты не спи, Анна, думай, за кого идти-то!

Отдали, конечно, за самого богатого.

Оборачиваясь, обнаруживаешь прошлое сахарным. Решения принимались легче и быстрее. Их поступки, увеличенные биноклем времени, кажутся полновеснее наших. И разумнее. Несмотря на то, что они промахивались, даже если выбирали богатых. Жизнь складывалась из бесконечной работы, а память хранила, в основном, историю отношений.

1. КАМЕННЫЕ РОЗЫ

Бабушка умерла, и я прокатила родственников с наследством. Я забрала не только фаянсового тельца, который каждое утро, пока я была маленькой, приносил в копытцах горошину обсыпанного сахаром драже, но и весь город. Город с непременно городским садом, жемудрами и черемухой, с центральной улицей, где обосновалась местная сумасшедшая, уместившая в одном выкрике-предложении целые истории:

– Она бегала с бритвой по переулку, когда за ним пришли!

И двор, бабушкин двор, я забрала со всеми дровяными сарайчиками и пристройками, со старой квартирой, помещавшейся в каретном сарае бывшей купеческой усадьбы. В центре двора стояла маленькая покосившая-

ся мазанка, там жил Универсам. Так прозвал его мой дед за «помоечный» промысел. С утра Универсам с тележкой совершал обход мусорных баков по всему району, к обеду возвращался нагруженный, тяжело стуча разномастными колесиками по булыжной мостовой. Через тридцать лет этот промысел повсеместно освою бомжи. По смерти Универсама осталась полуслепая жена Раечка, взятая им «из тюрьмы» после войны. Выпив, она часто пела странные будоражащие песни. Некоторые из них я встречу позже в сборниках «Русский городской романс» и «Споем, жиган». На семидесятом году у Раечки появился молодой двадцатилетний кавалер. Пока хватало Раечкиной инвалидной пенсии по зрению, они пили «белое» и вместе пели по вечерам, когда пенсия кончалась, переходили на «синюху» – средство для мытья окон; иногда дрались. Во дворе давно перестали об этом судачить, привыкли.

Загадкой оставалась лишь Дуся, живущая не в каретном сарае, как все, а в старом господском доме с полуразрушенным вторым этажом. Она выходила из дому раз в сутки, ненадолго: вынести мусорное ведро и покормить кошек. Во дворе обреталась целая орава серых, рыжих, полосатых и муаровых Васек и Мусек. Как говорит знаковый кошковед: «Порода помоечная, мелкобашковая». Где Дуся брала еду или, допустим, спички, не ходя на улицу, – не знаю. Дровяные некрашеные сараи в то время не зияли провалами и скрывали массу удивительных вещей – в дедушкином я нашла слегка объеденного мышами «Дон Кихота». Он пах подберезовиком и сыроежками, это был восхитительный запах.

Я приезжала на время летних каникул. Темнело рано, и вечерами мы перематывали шерсть. Я растягивала

пряжу на руках, а бабушка мотала клубок и рассказывала истории, каждый вечер по одной. Большею частью о наших родственниках, населявших, похоже, половину Рыбинска. Прабабка со стороны деда, не нашей женской линии, родила одиннадцать сыновей, и все, кроме последнего, выжили, я имею в виду – из младенцев. Потом-то погибли, кто в германскую, кто в финскую, кто в Отечественную. Мой дед, младший из братьев, дожил до девяноста и умер от пневмонии. Все оставили наследников. Я не знаю даже имен.

Бабушкины истории могучими ударами сокрушали литературу. Вряд ли она выдумывала сюжеты, описаний не давала, характеристики персонажей выводила крайне скупо. Может быть, поэтому истории ошеломляли.

Я забрала их с собой, как город, но в той моей памяти, памяти десятилетней школьницы, они сохранились неотчетливо.

К примеру, образ дочери вдовы вижу ярко, почти как мост через Черемуху или пожарную каланчу, но подробностей не соберу. Да ведь от каланчи в памяти тоже остались: галки на белых наличниках и струи воды перед воротами, когда пожарные мыли машины, – ни фактуры стен, ни точного их цвета.

А вдова сделалась вдовой еще до революции. Какая-то очередная моя родственница из девятнадцатого века. Ко всем прочим неприятностям, бобылка, безземельная. Дочерей вдова нарожала не меньше трех, число неважно, ведь речь об одной, старшей и самой красивой. В крестьянских семьях старшие дети частенько вырастали самыми красивыми, рослыми и сильными, успевая родиться, пока родители их еще любили друг друга без повседневной неизбежной

привычки, не то ненависти от трудного быта, тяжелой работы. Нынче не проверишь: либо детей мало – ну, один, много два, либо любовь и семья уж очень отличаются от тех патриархально-крестьянских. Это я не иронизирую, это я по-честному.

И эта вот дочь, достигнув определенного возраста, стала пользоваться успехом не только в своей деревне, но и в трех соседних. Вдова возложила на нее большие надежды: выгодная партия, все как положено. Наконец-то, паче чаяния, своя землица появится. Но город Рыбинск недалеко, при желании – пешком дойти, а желание у дочери присутствовало, у кого его не будет-то от скуки и тяжести полевых работ, тем более на чужом поле. В городе, как водится, нашелся молодой купец. Дальше по схеме: любовь, угроза мезальянса, разгневанные и богатые родители. Ну, мальчишка и струсил. Лет ему, надо полагать, ненамного больше, чем ей, а ей исполнилось шестнадцать.

Месяца через три-четыре вдова замечает, что с дочерью неладно: тошнит по утрам, и на соленые огурчики аппетит прорезался. Положение у вдовы пиковое. Во-первых, позору не оберешься, очень неприятно это было, видать, в той деревне. Может, глобальное пробуждение достоинства в народе после отмены крепостного права или еще чего. Но не принято, и все. Во-вторых, материальная сторона вопроса. И так трех девок кормить-одевать, а тут еще будущий младенец. Вдова с месячишко поплакала, пока уже заметно не стало у дочери-то, да и выгнала ее из дому от греха.

Чуть не забыла: у вдовы еще сын имелся, погодок с дочерью. Но то ли он в это время на заработки в город ушел, то ли рыбу промышлял.

Где скиталась изгнанница до родов, не помню. А все-таки не в городе, потому что родила в скирде, ибо там нашли мертвого ребеночка. Как установили, задушенного.

Как ее разыскали, не знаю – не ходила же она кругами по лесам и долам в оборванном платье, питаюсь одними ягодами. А вдруг как раз зима была? Хотя, скорее, лето или осень, раз речь о скирде в поле. Короче, ее судили и отправили в тюрьму. Там она от горя немного помешалась на время. Но свое отсидела, хоть и не слишком долго, раз вышла немногим старше двадцати лет. Домой не вернулась, устроилась в городе. А дальше у меня огромный провал в истории.

Может, она имя-фамилию сменила, может, еще что, но, встретив родного брата в городе, не признала его, как и он ее. И кончилось тем, что от большой любви они повенчались. Через несколько лет все выяснилось, но брак не расторгли. Не иначе революция подоспела с антиклерикальными настроениями и свободой выбора. В деревне к женитьбе отнеслись спокойно, то ли уморились склонять на все лады бедную дочь, то ли брак между близкими родственниками считался в их краях приличнее, чем внебрачный ребенок.

Дети, кстати, у них имелись. Совершенно полноценные.

Жить устроились в городе, где вопрос владения землей никого не волновал. То есть, буквально, они были счастливы и умерли в один день.

Какой там Маркес-сто-лет-одиночества!

Бабушка, я все забрала с собой, и потому мне некуда приехать, чтобы посмотреть на «каменные розы», что по традиции сажают у вас на кладбище.

2. ЛАНДРИН

Если бы снова прожить те дни, когда я кричала на нее или, схватив за локти, отчего на истончившейся коже проступали белые пятна, тащила в ванную отмывать неистребимый старушечий запах.

Если бы снова прожить, может, кричала бы тише?

Иногда она ошарашивала какой-то дремучей логикой. Если я расходилась из-за хлебных корок, упрятанных под подушку, спокойно заявляла:

– Ну, чего надрываешься, а еще инженер! – И ехидно добавляла, обернувшись к стенке: – Боялись мы тебя!

Отец называл ее Катинка, Каточек. Все говорили, что она была необычайно хороша собой, и не только в молодости, а еще очень-очень долго. Мне-то кажется, что у нее не было ни молодости, ни зрелости. Из Катинки сразу скачком превратилась в Бабу Катю, когда ее племянница родила (меня), и ей пришлось стать нянькой, а потом в Бабаньку, когда в девяностолетнем возрасте согласилась ко мне переехать, сама уже не управлялась.

У нее не было ни молодости, ни зрелости, потому что со всем этим нежным и румяным цветом лица, узкими алыми губами и маленьким прямым носом она совершенно не желала взростеть. И взрослую – чужую – жизнь успешно отвергала. Даже ее недоброта и капризность являлись чисто детскими.

Отторжение жизни обнаружилось с женихами, они начали поступать рано, едва ей исполнилось пятнадцать. В общей сложности ее сватали тридцать восемь раз. Число имело символическое значение – последним сватался тот несостоявшийся Единственный, когда ей исполнилось

как раз тридцать восемь. Наверное, посватался бы еще, год спустя, но началась война.

Впервые Единственный появляется в свеженькой подготовительной партии женихов, которую она без раздумий отвергает, как первое наступление взрослости. А он, Единственный, думает, что дело в Косте Белове, который провожает ее после «беседы», а совсем не в оборонительной, непонятной его бесхитростному деревенскому уму, позиции.

На «беседу» – деревенские молодежные посиделки – собираются в доме одной из девушек под прищотом матери. Подруги прядут и поют песни, ждут парней – выражения «молодые люди» или «юноши» не в ходу. Те появляются скопом, для храбрости. Если изба просторная, затеваются танцы, нет – поют песни вместе с парнями. Медленнее крутится веретено, прядется уж не шерсть – будущая судьба, завязывается флирт, составляются пары, выпеваются любовь. После «беседы» избраницу прилично проводить. Иные по дороге завернут не туда, запутаются длинной косой в мягком сене, кому придется со свадьбой торопиться, а кому и плакать.

Катинка ходит с Костей, ведь одной ворочаться стыдно. Костя провожает, сирени цветут, вечера липки и душисты, как припасенные Костей мятные леденцы, ландрин. А Единственный ходит в соседнюю деревню Пономарицы к ее старшей замужней сестре Марии и просит уговорить Катинку замуж, а дома мачеха шумит насчет лишнего рта, но быстро отходит. У Кости есть неоспоримое достоинство – в свое время ухаживал за старшей Марией, что как бы вводит его в круг семьи, делает неопасно-чужим. В прогулках с Костей нет стремления младшей догнать старшую, никакого на-

рождающегося кокетства, ничего женского, лишь детское самолюбие.

Но в какой-нибудь вечер она выглядит окончательно прирученной, и Костя совершает непоправимую ошибку. Вместо того чтобы бежать к мачехе сговорить свадьбу, решает заручиться согласием невесты, хуже того, ее целует. Ужасное прикосновение чужих мокрых губ она будет вспоминать и в девяносто шесть, когда черты Костиного лица растворятся в ее памяти. А сегодня – стремглав мчится домой до крови оттирать губы водой и золой. И мрачный Костя клянет день, когда обратился душой к этим сестрам, что не помешает ему через пять лет ухаживать, также безуспешно, за младшей Тоней. А Единственный тихо радуется Костиной отставке и караулит ее за гупном.

Время идет, мачеха настроена решительно, и Катинка собирается в батрачки, от греха подальше. Единственный рассчитывает верно, ждет до отъезда, надеясь, что ее маленькое, как леденец, сердце дрогнет хотя бы перед выбором: работать на чужих или на собственную семью. Да не учел, что другая семья – не ее клана, никогда не будет считаться ею собственной. Когда он повторно сватается вместе с Федей-пропойцей, Феде отказывают из-за пьянства, а ему заодно.

Все, чего он добьется, приезжая в далекую деревню, где она работает по найму, – счастья провезти ее в гости к старшей сестре Марии. У Марии муж, четверо детей, живут у свекра-свекрови. Там Катинке приткнуться негде. Но вырастает решительная младшая сестра Тоня, улепетывает от всей этой родни-деревни (у Тони-то они давно в печенках) в Петроград и принимается жить самостоятельно и цепко. Катинка едет следом: ей все равно, где жить, лишь бы кто-то из родных рядом, хоть на одной

лестничной площадке; пусть город, пусть тяжелая неквалифицированная работа – учиться она не будет, боится, не сумеет, как ни уговаривает, сердясь и крича, Тоня. У Тони своя авантюрная жизнь, а она уж как-нибудь, так, маленько, окол.

В старости на вопрос, положить ли ей каши, картошки или супа, она всегда отвечала: «Все равно, так, маленько». Не умела долго и тихо плакать, как, бывает, плачут старухи; если я особенно допекала ее, взвизгивала, как собачка. На ночь громким шепотом перечисляла имена родных, иные по несколько раз, вроде молитвы – когда сами молитвы стали забываться.

Приход в церковь стал ее первым свободным поступком: не чтобы прокормиться, для души устроилась служкой в Троицкий собор Александро-Невской лавры. И мне сумела передать радостно-сказочное восприятие Библии; навсегда переплелись в памяти с ее голосом истории о Прекрасном Иосифе и о сером волке, о царе Соломоне и о Марье-царевне. Только про Марию-царевну она читала по книжке, а про Иосифа Прекрасного рассказывала так. В церковь она устроилась уже ближе к сорока.

Вот тут-то появляется в последний раз Единственный со своим упорством жениться на ней. Через двадцать с лишним лет со дня первого предложения. Он приходит в убогую девятиметровую комнатку, где мебель стоит по одной стенке, чтоб можно было обратиться к окну, и все больше места занимают иконы. Он в первый раз столь красноречив. Обещает, что переедет в город из деревни, раз ей тут лучше. Сулит, что ничего не заставит – и не попросит! – делать по хозяйству (все-таки постиг ее невысказанный страх), что достаточно получает, чтоб на-

нять домработницу, если ей не понравится, как он справляется. Ничего не говорит о любви, опять же, разгадав ее и боясь спугнуть. И в первый раз честно, но главное долго она говорит с чужим мужчиной. Что из всех женских дел знает разве вязание крючком, которое осваивают десятилетние девочки, и что это нехорошо для брака. И как бы он ни обещал, придется стирать и готовить, а она не может, не умеет, и все будут мучиться, и людям на смех. И – самое главное под конец – что здесь рядом сестра, а как она без сестры?

У него не хватит сил уйти, и он долго просидит, бесцельно повторяя сказанное, заклиная голосом, покашливанием и смущенным взглядом. Но она, с заново отстоянной детской независимостью, не пожалеет выпроводить гостя за порог в глухой сентябрь, куда он отправится ночевать: может, на вокзал, может, к знакомым.

На будущий год начнется война, и мне кажется, что он погиб там, иначе бы дал о себе знать. Хотя после войны для него вовсе не осталось пространства. Приехала на учебу дочь старшей сестры, племянница Елена, поселилась у Катинки. У Тони, живущей в соседней квартире, комната гораздо больше, но у Тони новый муж и вообще. Появилась забота: ждать вечерами племянницу из института, а после каникул – из Города, с письмами от Марии. Слово «город» навсегда отнесено к Рыбинску, волжскому городку неподалеку от родной деревни, а не к Питеру.

После племянница получила комнату, вышла замуж, родила девочку, и сразу потребовалась няня, потому что новую работу Елена не могла оставить ни на месяц и прибежала кормить ребенка со службы в перерывах между лекциями.

Так совершился внезапный переход в маленькую Бабу Катю. Маленькую и по ее отношению к «взрослой» чужой жизни, и по росту, старшей сестре едва по плечо. Как стыдила меня незнакомая тетка на Банном мосту:

– Такая большая девочка и такая маленькая бабушка – не стыдно тебе на ручки проситься?

Она рассказывала про свое детство и про Иосифа Прекрасного; подробно – о том, как завивала волосы на сахарную воду, даже про Костю Белова рассказывала. Но Единственного не вспоминала никогда. О нем я узнала от других бабушек, от тех моих бабушек, которые выросли, прожили сложную и разную жизнь и состарились к тому моменту, когда я научилась задавать вопросы.

Баба Катя пережила сестер и даже племянников.

Но вот чего я боюсь. Своими криками (она плохо слышала) и упреками из-за открученных кранов, хождения по ночам и разнообразных бытовых неурядиц я научила ее обижаться. А научившись обижаться надолго, как случалось в последние годы, она вдруг повзрослела и догнала наконец свои девяносто шесть лет. И умерла.

3. ШАР ГОЛУБОЙ

Легкомысленная, горячая, восхитительно-несправедливая Кока! На самом деле младшую сестру бабушки звали Антониной, но она крестная моей мамы, и Кока привилось, заменив имя или другие формы обращения.

В свои семьдесят пять учила меня танцевать кадрили, подпевая тоненьким высоким, но не старушечьим голоском. Летом на даче успевала испечь к завтраку пиро-

ги, а до обеда прополоть все, что требовалось прополоть в огороде. Дача в Рощине пропала, отошла деду Николаю, ее третьему мужу. Они развелись стремительно, когда ей стукнуло семьдесят два.

Не последнюю роль в разводе сыграла соседка по квартире Тося, с которой Кока жила одной семьей. Не думаю, что так тесно их связала пережитая вместе блокада. Кока легко поддавалась под чужое влияние, а Тося оказалась при ней вроде злого гения. Тосина комната напоминала склад антиквариата, среди прочего там хранились целых два бронзовых Меркурия с крылышками на сандалиях, высотой в половину человеческого роста. Старуха из подъезда шепнула, что Тося в блокаду мародерствовала – оттуда, дескать, картины и фарфор. Кто знает. На даче у Коки Тося жила дачницей на правах хозяйки. Ходила между грядок под зонтиком от солнца и журчала о деда-Колиной «шизофрении», что заключалась в собирании гвоздей. Но он же эти гвозди и заколачивал иногда, причем большей частью по делу. При мне за пару дней построил маленькую домушку для кролика, взятого напрокат у соседей на лето, чтобы позабавить внуку. В этой домушке мы играли с подружками во время дождя, втроем, кролик – четвертый.

Как бы то ни было, дача отошла деду, а комната в Питере – Коке, плюс двадцать тысяч, огромная сумма по тем временам. Кока немедленно накупила платьев, сшила летнее пальто-пыльник и укатила в Евпаторию, развеваться.

Она обожала изображать барыню. Помню, как мы вместе отправились в Москву, и на вокзале я спросила, глядя на золотое сияние вокруг ее пухлого запястья, сколько времени. Кока, не смутившись, ответила, что

часы не ходят, зато золото настоящее червонное. Она носила часы для красоты, так же как шелковые платья. Правое плечо у Коки заметно выше левого – всю жизнь проработала поваром, с шестнадцати лет. От постоянного перемешивания тяжелым черпаком в котле плечо перекосилось. Это крестьянская хватка пробилась сквозь легкомыслие: устроиться поближе к еде. Подумать – в революционном Петрограде, деревенской девочке, одной... Она быстро сориентировалась.

Первый муж, «гражданский», был много старше, чуть не на сорок лет. Они познакомились в столовой, где Кока работала. Что делал в пролетарской столовой потомственный польский дворянин? Полагаю, то же, что и все: обедал. Он умер, оставив ей коллекцию картин, столовое серебро со своей монограммой, помеченное 1872 годом, и персидские ковры, тем самым защитив на первое время.

Второй муж на старых фотографиях крупнее Коки в четыре раза: два в высоту и два в ширину. Помню всего один рассказ. Как он вроде бы охладел к молодой жене, а может, узнал о небезупречном прошлом и обиделся. Кока надела очередное шелковое платье с буфами и полтора часа (для верности) прогуливалась под собственными окнами с весовщиком из столовой, заставляя того периодически целовать ей руку. Самое поразительное, что незатейливая уловка сработала. Этот муж тоже умер: не пережил блокаду. Тучные люди умирали в первую очередь. Худенькая маленькая сестра Катя выжила, Кока носила ей кашу с работы. Во рту, больше нигде нельзя спрятать, на проходной проверяют. Выкормила буквально, как птенца.

Похоронив двух мужей, разведясь с третьим, Кока не стала бедной-несчастной. До смерти, не такой уж дале-

кой, успела и сумела промотать доставшиеся при разводе двадцать тысяч, и это мудрый поступок. Она любила гостей, любила веселиться, держала канарейку и разводила кактусы. Кактусы, спасенные от меня и глядевшие печальными столбиками, у нее жирели до шаров и немедля принимались цвести. Канарейка с обрезанным хвостом, спасенная от детей сапожника, пела, как заводная.

А дед Николай оказался первым мужчиной, который устроился (электриком) в Боткинские бараки после блокады, когда Кока трудилась там среди таких же бледных изможденных женщин, выживших благодаря баракам, благодаря близости работы и еды. Она была постарше и взялась женить неопытного электрика, дескать, познакомлю с кем-нибудь и так далее. Но познакомить не успела, так быстро он женился сам. На ней.

Ненавижу закон равновесия, не хочу, не верю в него. Она легко жила и почему умирала долго и мучительно?

Последнее, что сделала «серьезного» перед смертью сама, – сняла золотые коронки. Чтоб не пропали.

4. Ложка с чужой монограммой

Мы гуляем с собакой по окраине садоводства, она носится, я хожу медленно и разглядываю молодые шишки на елях. На всех елях светлые, желтовато-зеленые, а на одной ярко-синие. Если долго смотреть на синие шишки, все вокруг синее. Небо насыщается, и набегают туча, большая, на все садоводство. Вот-вот начнется гроза. Значит, пора бежать к дому, меня ждут. В серванте на даче старинная серебряная ложка с монограммой и годом:

1872. Там живет Лиза. Во время грозы ее личико показывается в ложке, и она рассказывает истории. Это похоже на сон, но не надо закрывать глаза, чтобы увидеть цветные картинки и услышать голос. Голос принадлежит мужчине, произносит одно-единственное слово. Имя.

В прошлую грозу мне показали город, похожий на Львов. Витрина ювелирного магазина с тиковыми навесами над окнами, стекла от них синие-пресиние. «Лиз!» – зовет важный поляк, вешает трость на локоть и раскрывает футляр с брошью в виде веточки смородины. Очень знакомая вещица, по-моему, такую я видела у Коки.

Он, поседевший, располневший, но все еще красивый, сидит в ресторане, заткнув салфетку за воротник, и отчитывает лакированного официанта.

Две грозы назад обрюзгший старик в феске и с аккуратно подстриженными усами грезил за стаканом жидкого чая и тарелкой с двумя блинами под портретом Калинина. Рядом к стене прислонена палочка. «Лиз!» – он шепчет в тарелку, и приходит буфетчица в наколке на забранных волосах, смотрит с интересом.

«Лиз!» – он же, но не старик, а почти мальчик в ловких сапожках, держит лошадь под уздцы, восхищенно запрокинув голову к всаднице.

Очень хочется увидеть бал и шампанское из тувельки, но Лиза мне этого не показывает. Никогда не показывает и себя. Личико в ложке крошечное, только и видно черную прическу и черные глаза.

Я пересказываю Лизе те обрывки, что сохранились в памяти о ее муже. Стараюсь, чтобы история отношений с Кокой выглядела поприличнее. Лиза, он же старый человек, ему нужен уход и крепкий чай; она неопытна до такой степени, что не отличает хорошего от дурного,

сама подумай, с пяти лет сирота, «в людях». Да она и не красива, Лиза, веселая, правда, и готовит хорошо, ну и продукты от столовой. Я даже не знаю, как твой муж овдовел, а может, не овдовел, и ты живешь где-нибудь в Польше? Нет, не сейчас живешь, сейчас и Коки уже нет, а тогда, когда они сошлись, когда разыгрывалось начало истории с Кокой, собственно, не начало – завершение. Трудно объяснить. Особенно если сама толком не знаешь.

Так хочется сделать Лизе приятное. Раскладываю Кокины кольца на столе, вдруг какое-то из них Лизино? Старые фотографии остались в городе, не таскать же на дачу весь архив. Рискую пропустить эту грозу без Лизиних картинок-историй, говорю и говорю про Коку, какая она щедрая, как старалась для этого поляка на сорок лет старше себя и как ей негде было жить, когда приехала в Питер из деревни. А если Лиза не понимает по-русски? Как объяснить Лизе, что за ее мужем в его последний год хорошо ухаживали и белье меняли – как там у них было положено? – раз в десять дней. Не сердись, Лиза, не злись на Коку, она берегла его, видишь, даже вещи, его драгоценные подарки не продала, не сменяла на хлеб в блокаду. Ты слышишь, Лиза?

Мне кажется, она смеется там, в ложке, и грозит пальчиком. Точно, смеется, слышно даже сквозь грозу за окном.

И гроза не за окном, а на картинке, знакомый поляк застыл в растерянности посреди – наверное – будуара. Имя «Лиз» тоже застыло, произнесенное. Боязливо взглянув в сторону постели, берет с туалетного столика ожерелье, камни вспыхивают в слабом свете ночника, он стискивает холодные искры и разжимает пальцы.

Украшение падает на пол, но удара не слышно. Ничего не слышно. С трудом, словно пространство стало вязким, идет через комнату, останавливается у тумбочки с лекарствами, разглядывает пузырьки, бонбоньерки, стакан с серебряной ложкой. Выплескивает в форточку остатки жидкости из стакана, помедлив, обтирает ложку о скатерть и отправляет в карман. Видимо, не понимает, что делает. Когда он поворачивается к двери и проходит мимо постели, мне становится видно свесившуюся оттуда мертвую черную косу. Гроза разгулялась, не утихает. Прощай, Лиз!

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА